## Четвёртое июля в Сальвадоре

О. Генри

Перевод Л. Каневского

Билли Каспарис рассказал мне эту историю одним летним днем, когда город сотрясало от грохота, рева толпы и красной вспышки патриотизма.

Билли — это в своем роде Улисс-младший. Подобно Сатане, он возвращается из блужданий по земле и путешествий вверх-вниз в ее недрах. Ранним утром, когда вы ложечкой разбиваете скорлупу яйца на завтрак, он со своей хваткой маленького аллигатора несется на всех парусах, чтобы осмотреть городскую достопримечательность посередине озера Океечобее или же торговать лошадьми с патагонцами.

Мы с ним сидели за маленьким круглым столиком, перед нами стояли стаканы, в которых позвякивали большие кубики льда, а над нами возвышалась искусственная пальма, и так как окружающая нас обстановка, видимо, навеяла ему похожие воспоминания, у Билли возникло желание начать свой рассказ.

— Все это напоминает мне, — сказал он, — о празднике Четвертого июля, который я помогал отмечать в Сальвадоре. Там у меня была фабрика по производству льда, она появилась у меня после того, как я исчерпал запасы серебра своих копей в Колорадо. Я получил то, что называется «условной концессией». Они заставили меня внести денежный залог в тысячу долларов в качестве гарантии, что я буду производить лед постоянно в течение шести месяцев. При выполнении этого условия я мог бы вернуть свой взнос. Если я нарушал его, то правительство забирало всю мою кучу денег. Поэтому инспектора постоянно наведывались ко мне, чтобы установить, сколько на складе осталось продукции.

Однажды, когда на термометре было 110 градусов по Фаренгейту, на часах стрелки указывали половину второго, а на календаре стояло число — третье июля, двое из числа этих смуглых лоснящихся недомерков, сующих повсюду свой нос, в своих красных портках проникли ко мне, чтобы провести очередную инспекцию.

Моя фабрика в это время вот уже в течение трех недель не произвела ни фунта льда и не могла этого сделать по нескольким причинам. Сальвадорские домохозяйки его не покупали: они говорили, что от него у них стынет все, куда они его бросают. И еще я не мог больше производить свою продукцию, так как обанкротился. Теперь самым главным для меня стало одно — как можно скорее вернуть свою тысчонку и поскорее убраться из этой треклятой страны. Шестимесячный срок приходился как раз на шестое июля.

Ну, я показал им весь свой запас льда. Поднял крышку темного чана, где покоилась элегантная глыба льда весом сто фунтов, такая красивая, что просто не могла не ласкать глаз. Я хотел было уже захлопнуть крышку, когда один из этих брюнетов, этих негодяев хлопнулся на свои обтянутые красной материей колени и положил свою крепкую предательскую руку на мою глыбу, этот гарант моей честности. Всего за пару минут они вытащили из чана и опустили на пол эту мою прекрасную глыбу, отлитую по форме ледяной стеклянную массу, за одну доставку которой сюда из Фриско мне пришлось выложить пятьдесят долларов.

«Это что, льод, — спросил тот, который сыграл со мной этот нечестный трюк. — Что-то очень теплый льод». — «Да такой сегодня жаркий день, сеньор». — «Может, его следует спрятать в каком-нибудь прохладном местечке, чтобы он остыл? Да?» — «Да, — повторял я, — да», — но понял, что они меня достали.

«Выходит чтобы проверить, нужно пощупать, не так ли, ребята? Да. Но ведь можно утверждать, что ваши портки на заднице небесно-голубого цвета, хотя я выражаю свое твердое мнение, что они — красные. Нужно провести тестирование наложением рук и ног».

С этими словами я пинками выгнал обоих инспекторов за дверь, а сам приступил к охлаждению своей глыбы — блестящего своего стекла.

Мне, конечно, особенно радоваться было нечему, я сидел у себя, испытывая не столько тоску по родине, сколько по деньгам, без цента за душой, ждал, когда воспрянут мои амбиции, и вдруг до меня донесся какой-то странный бриз — самый чудный запах, которого не ощущал мой нос уже целый год. Бог ведает, откуда он прилетел на эти задворки страны, этот чудный «букет», состоявший из настоянных лимонных корочек, окурков от сигар и выдохнувшегося пива — именно таким запахом обладало заведение «Голдбрик Чарли» на Четырнадцатой улице, где я по вечерам играл в безик с третьеразрядными актерами.

От этого знакомого, родного запаха я вновь остро ощутил все свалившиеся на мою голову беды, но я старался задвинуть эти воспоминания куда-нибудь подальше. Я вдруг начал скучать по своей стране и стал ужасно сентиментальным, я произносил такие слова о Сальвадоре, которые никогда, как вы понимаете, не должны были бы на законном основании вылетать за пределы фабрики по производству льда.

И вот, когда я там сидел, то увидал, как на самом солнцепеке вышагивает в своем чистом, белом костюме Максимилиан Джонс, американец, который проявлял интерес к каучуку и розовому дереву.

— Каррамба! Черт подери! — вскричал я, ибо в эту минуту пребывал в дурном расположении духа, разве мне мало своих бед? — Я знаю, чего тебе надо. Ты хочешь снова рассказать мне историю о Джоне Эммигере и этой вдове в поезде. Ты только в этом месяце рассказывал мне ее девять раз.

— Вероятно, все из-за жары, — сказал Джонс, в изумлении останавливаясь в дверном проеме. — Бедняга Билли! Явно чокнулся. Сидит на льду и оскорбляет погаными словами своих лучших друзей. Эй, что с тобой, мучачо? — Джонс тут же позвал мою рабочую силу, которая сидела на солнце, играя со своими пальцами на ногах, и приказал ей немедленно натянуть штаны и бежать за доктором.

— Ну-ка, вернись! — приказал я. — Садись, Макси, забудь обо всем. Это совсем не лед и на нем сидит не лунатик. Это всего лишь изгнанник, испытывающий острую тоску по родине, сидящий на блоке стекла, который стоил ему тысячу долларов. Так что там сказал Джонни этой вдове? Я с удовольствием послушаю твой рассказ еще раз, не обращай внимания на мои слова, не сердись!

Мы с Максимилианом Джонсом сели и стали беседовать. Он испытывал точно такую же тоску по родине, что и я, ибо разного рода мошенники лишили его половины прибылей, которые он получал от розового дерева и каучука. На дне цистерны у меня хранилась дюжина бутылок плохого сан-францисского пива. Когда я их выудил, мы начали предаваться воспоминаниям о родном доме, о национальном флаге, о гимне «Славься, Колумбия!» и о жаренной по-домашнему картошке.

От той околесицы, которую мы с ним несли, могло бы стошнить любого, кто имел возможность сейчас пользоваться всеми этими благами. Но нам они были недоступны. По достоинству оцениваешь родной дом, только когда его покидаешь; деньги, когда они кончаются; жену только после того, как она вступит в женский клуб; а государственный флаг Соединенных Штатов, когда он вывешен на метловище какой-то развалюхи, представляющей собой наше консульство в чужом городе.

И вот, когда мы так сидели с Максимилианом Джонсом, почесываясь от покалывающей жары и пиная снующих по полу ящериц, то вдруг ощутили громадный прилив патриотизма и любви к своей стране. Вот я, Билли Каспарис, бывший капиталист, превратившийся в люмпена из-за своего сильного пристрастия к стеклу (в глыбах), жалуюсь на нынешние свои несчастья, я, некоронованный сюзерен величайшей на земле страны. А рядом со мной — Максимилиан Джонс выплескивает целые потоки своего гнева на олигархов и всех этих властелинов в красных портках и тряпичных туфлях. И вот мы оглашаем декларацию о вмешательстве, в которой берем на себя обязательство, что национальный праздник — День Четвертого июля будет достойным образом отмечен здесь, в Сальвадоре, со всеми полагающимися по такому случаю салютами, взрывами, воинскими почестями, образцами ораторского искусства и теми крепкими жидкостями, которые предусмотрены вековой традицией.

Нет, ни у меня, ни у Джонса еще не одряхлела душа, много будет шума в Сальвадоре — утверждаем мы, и пусть лучше все обезьяны поскорее забираются на самые высокие кокосовые пальмы, а пожарная охрана вытаскивает свои красные пояса и пару цинковых ведер.

Приблизительно в это время на фабрике появился местный житель, генерал Марч Эсперанса Диас, которого здесь подвергали дискриминации. Он был несколько красноват в лице и в политике, но был другом моим и Джонса. Он отличался вежливостью и интеллигентностью, причем первому он научился, а второе сумел сохранить во время двухлетнего пребывания в Филадельфии, где он учился медицине. Для сальвадорца он не был уж таким зловредным маленьким человеком, хотя никогда не отказывался сыграть на валета, даму, короля или туза, или на двойку в «стрите».

Генерал Марч сел с нами, получил бутылку пива. Во время пребывания в Штатах он овладел синопсисом английского языка и искусством восхваления всех наших институтов.

Вдруг генерал встал, на цыпочках подошел к двери, потом к окну, к другим выходам и везде тихо произносил: «Тсс!»

Все в Сальвадоре выполняют такую процедуру, когда просят бутылку воды или осведомляются о времени, все они — врожденные конспираторы с колыбели и самозванные идолы утренников.

— Тсс! — снова прошипел генерал Динго и прижался грудью к столу, как Гаспар-скряга. — Мои дорогие друзья, сеньоры, завтра наступает великий день, день Свободы и Независимости. Сердца американцев и сальвадорцев будут стучать в унисон. Я знаю вашу историю, вашего великого Вашингтона. Разве не так?

«Как все же мило, — подумали мы с Джонсом, — что генерал помнит о Четвертом июля». Нам от этого стало приятно. Когда он был в Филадельфии, то, очевидно, что-то слышал о тех неприятностях, которые были у нас с Англией.

— Да, — одновременно сказали мы с Макси, — мы как раз говорили об этом, когда вы вошли. И вы можете даже держать пари на свою шахтную концессию, что в этот день будет много шума и гама и перья полетят в воздух. Нас мало, но это не значит, что мы не начнем, не дернем за веревку — набат должен загудеть...

— И я помогу вам, — сказал генерал, хлопнув себя по ключице. — Я тоже — на стороне Свободы. Благородные мои американцы, завтра мы устроим такой день, который никогда не забудется.

— Для нас американское виски, — сказал Джонс, — это вам не шотландская бурда, или анисовая, или трехзвездный Хенесси. Мы одолжим у консульства национальный флаг, старик Биллфингер произнесет торжественную речь, и мы прямо на площади устроим барбекю.

— Фейерверк не будет таким большим, — сказал я, — но для наших пистолетов есть патроны в магазинах. У меня два морских шестого калибра. Я привез их из Денвера.

— Есть одна пушка, — сказал генерал, — одна большая пушка, которая будет стрелять: бум! бум! И триста человек поднимут ружейную стрельбу.

— Вот это да! — воскликнул Джонс. — Генералиссимус, вы настоящий военный, вас не сломить. Мы устроим совместный международный праздник. Прошу вас, генерал, найдите белого коня, а с голубым поясом вы будете выглядеть великим маршалом.

— С саблей наголо, — сказал генерал, выкатывая глаза, — я поскачу во главе смельчаков, которые объединятся во имя Свободы.

— Не могли бы вы, — предложили мы ему, — посетить коменданта и сообщить ему, что мы тут организуем небольшую заварушку. Мы, американцы, и вы отлично это знаете, обычно с уважением относимся к муниципальным правилам в отношении заряжения револьверов, когда все выстраиваются на параде, чтобы усилить свободолюбивый клекот нашего Орла. Пусть отменит все эти правила на один день. Нам не хочется попадать в каталажку, но мы вздуем его солдат, если они посмеют вмешиваться и перечить нам, понятно?

— Тсс! — вновь зашипел генерал. — Командующий с нами душой и телом. Он нам поможет. Он один из нас!

Мы обо всем договорились сегодня в полдень. Есть тут в Сальвадоре один южноамериканский индеец, он из штата Джорджия, его туда занесло из организованной наскоро колонии цветных где-то в Мексике, там, где не водятся опоссумы. Как только он услыхал вожделенное слово «барбекю», то заплакал от радости и стал валяться по земле. Он выкопал канавку на плазе и заготовил бутыль пива, чтобы поливать им угли во время жарки туши, и эта церемония продлится всю ночь.

Мы с Макси обошли всех американцев в городе, они зашипели, словно кусок мяса на вертеле, выражая свою радость по поводу идеи торжественно отметить старинный праздник 4 июля.

Нас здесь — всего шестеро: Мартин Диллар, кофейный плантатор, Генри Барнс, железнодорожник, старина Биллфингер, грамотный человек, принимающий пари; ну, я, Джонси, Джерри, хозяин ресторана «Барбекю». Есть, правда, в городе еще один англичанин по имени Стеррет, он хотел написать здесь книгу об архитектуре домоустройства в мире насекомых.

Мы не хотели вначале приглашать британца — начнет еще разевать клюв, восхвалять свою страну, — но потом все же решили рискнуть, только из нашего личного к нему уважения.

Когда мы пришли к нему, он в пижаме работал над своим манускриптом, используя в качестве груза для исписанных листков бутылку бренди.

— Послушайте, англичанин, — сказал Джонс, — не угодно ли вам на время прервать ваше исследование о домиках для клопов? Завтра, если вы помните, Четвертое июля. Мы, конечно, не хотим оскорблять ваши патриотические чувства, но собираемся отмечать тот день, когда мы поколотили вас, после чего устроили превосходную, безумную пьянку, которую было слышно миль за пять. Если вы человек достаточно широких взглядов, чтобы по собственному побуждению пить виски, приглашаем вас к нам присоединиться, мы будем очень рады.

— Знаете, — сказал Стеррет, надевая на нос очки, — вы еще имеете наглость спрашивать меня, присоединяюсь ли я к вам. Да разрази меня гром, если я этого не сделаю! Могли бы даже не спрашивать меня об этом. Я желаю это не для того, чтобы прослыть предателем родины, а только ради замечательно громкого скандала!

Утром четвертого июля я проснулся в своей старой развалюхе, служившей мне фабрикой по производству льда, чувствуя себя из рук вон плохо. Я оглядывал все эти обломки своей собственности, и сердце мое наполнялось горечью. Со своего тощего матраца в окно я видел потрепанный звездно-полосатый флаг, свисавший с этой лачуги.

«Все же ты — большой дурак, Билли Каспарис, — сказал я себе. — Из всех твоих преступлений, совершенных против здравого смысла, это — наихудшее, твоя идея празднования Четвертого июля не может даже претендовать на малейшую заслугу. Бизнес твой пошел прахом, твоя тысяча долларов отправилась в банк этой насквозь коррумпированной страны из-за допущенной тобой непростительной оплошности, у тебя в кармане последние пятнадцать чилийских долларов, обменный курс которого вчера перед сном составлял сорок шесть центов и продолжает стабильно снижаться. Сегодня ты профукаешь свой последний цент, провозглашая здравицы в честь американского флага, а завтра будешь жить сорванными с дерева бананами, а на выпивку будешь клянчить у своих друзей. Ну, что лично для тебя сделал этот флаг? Когда он развевался у тебя над головой, тебе приходилось вкалывать, чтобы получить то, что у тебя было. Ты, не жалея ногтей, сдирал шкуру с олухов и болванов, прибегал к нечестным махинациям на рудниках, прогонял медведей и аллигаторов с пустырей своего города. Много ли значит твой патриотизм для твоего счета, когда какой-то сморчок в картузе с зеленым козырьком закрывает в банке твой счет? Предположим, тебя прищучили здесь, в этой безбожной стране, за какое-то мелкое преступление или что-то в этом роде, и тебе придется обратиться к твоей стране за помощью — что она для тебя в таком случае сделает? Направит твое прошение в какой-то комитет, состоящий из железнодорожника, армейского офицера, члена профсоюза и какого-нибудь цветного, чтобы те расследовали, имел ли кто-нибудь из твоих предков отношение к кузену Марка Ханны, после чего он отправит все бумаги в Смитсоновский институт, где они пролежат, покуда не пройдут очередные выборы. Вот по какой колее поведет тебя звездно-полосатый твой флаг».

Видите, я чувствовал себя как выжатый лимон, но мне стало значительно лучше, после того как сполоснул физиономию холодной водой, вытащил свои морские револьверы с патронами и направился к назначенному месту встречи — к салуну Всех Непорочных Святых. И когда я увидел других американских парней, которые, пошатываясь, входили в это заведение для намеченного свидания, такие спокойные, уравновешенные, такие отважные, готовые пойти на любой риск: передернуть вовремя карту, отправиться стрелять медведей гризли, бороться с огнем или даже согласиться с экстрадицией, то с большой радостью ощутил себя одним из них. Я снова сказал себе: «Билли, у тебя в кармане пятнадцать чилийских долларов и страна, в которой сегодня утром тебя нет, — растранжирь эти деньги и тряхни как следует этот городишко, так, как это полагается сделать американскому истинному джентльмену в День Независимости его страны».

Помню, тот день начался как обычно. Шестеро из нас, ибо Стеррет держался особняком, методично проходили через все продовольственные магазины, в которых продавали выпивку, и опустошали тамошние бары, угощаясь всеми крепкими напитками из бутылок с американскими наклейками. Мы сотрясали воздух, громко разглагольствуя о славе и величии Соединенных Штатов и их способности подчинять, опережать и искоренять все другие народы на земле. По мере того как американских наклеек становилось все больше, и мы заражались все большим патриотизмом. Максимилиан Джонс выражал надежду, что мистер Стеррет не обиделся на проявления нашего возвышенного энтузиазма. Он поставил свою бутылку на его столик и пожал Стеррету руку.

— Скажу вам, как белый человек белому, — начал он, — весь этот поднимаемый нами гвалт не имеет лично к вам никакого отношения. Прошу простить нас за таких людей, как Банкер Хилл, Патрик Генри и Уолдорф Астор, забудем о взаимных обидах, которые разделяют наши нации.

— Друзья-громилы, — ответил Стеррет, — от имени английской королевы прошу вас замять все это для ясности. Для меня большая честь оказаться среди тех, кто нарушает порядок, прикрываясь американским флагом. Может, споем такие страстные куплеты «Янки Дудл», а тот сеньор за стойкой тем временем, чтобы смягчить атмосферу, нальет всем кошенеля и огненной воды.

Старина Биллфингер, которому была поручена вся риторика, произносил пламенную речь повсюду, куда мы заходили. По дороге мы объясняли всем горожанам, что отмечаем в данный момент собственный образчик свободы, и просили всех отнести все бесчеловечные безумства, которые мы могли сотворить, к числу неизбежных потерь.

Около одиннадцати часов в наших боевых сводках значилось: «Значительное повышение температуры, сопровождаемое усиливающейся жаждой и другими тревожными симптомами». Мы взвели курки нашего оружия и, построившись в цепь, пошли по узким улицам, у каждого в руках был винчестер или морской револьвер, которые предназначались лишь для поднятия шума и не свидетельствовали ни о каком злом умысле. Мы остановились на углу одной из улиц и, дав несколько очередей, приступили к исполнению серийного набора радостных воплей, криков и завываний, что, вероятно, местные жители слышали впервые в жизни.

После того как мы подняли весь этот невыразимый шум, общая картина стала оживляться. Мы услыхали на боковой улице цокот копыт, из нее выехал на белом коне генерал Мари Эсперанса Динго, за ним следовало сотни две смуглых парней в рубашках красного цвета, босых, волочащих за собой ружья длиной футов в десять. Мы с Джонсом совсем забыли о генерале Мари, о его обещании принять участие в нашем торжестве. Мы пальнули еще раз и вновь истошно разом заорали в знак приветствия, а генерал любезно пожимал нам руки, воинственно помахивая саблей.

— Ах, генерал, — заорал Джонс, — какая величественная картина! Вы доставите истинное удовольствие нашему Орлу. Ну-ка, слезайте, выпейте с нами.

— Выпить? — переспросил генерал. — Нет, что вы, у нас на выпивку нет времени.

— Все мы едины! Viva! Не забудьте! — сказал Генри Барнс.

— Viva все хорошее, все сильное! — крикнул я. — Viva Джордж Вашингтон! Боже, храни Содружество и не забывай о королеве! — добавил я, поклонившись в сторону Стеррета.

— Благодарю вас, — ответил он. — Теперь моя очередь. Все к стойке! Вся армия — тоже!

Но все мы были лишены угощения Стеррета, так как неподалеку раздалась револьверная стрельба и генерал Динго решил, что ему нужно с этим разобраться. Он пришпорил свою белую клячу, бросился вперед, а его воинство быстро побежало за ним.

— Этот Мари — поистине диковинная тропическая птичка, — сказал Джонс. — Он привел с собой всю пехоту, чтобы вместе с нами чествовать праздник Четвертого июля. Скоро в наших руках будет та пушка, которую он нам обещал, и мы из нее пальнем так, чтобы из нескольких окон повылетали стекла. Ну а теперь неплохо бы перекусить, попробовать это барбекю. Пошли на плазу.

Там уже было готово превосходное жареное мясо, а Джерри явно нервничал, ожидая нас. Мы сели прямо на траву, нам положили на оловянные тарелки по большому куску говядины. Максимилиан Джонс, которого всегда выпивка настраивала на нежный лад, что-то стал говорить по поводу того, что, мол, как жалко, что с нами сейчас нет Джорджа Вашингтона, чтобы и он отметил этот торжественный день.

— Был только один человек, которого я искренне любил, Билл, — говорил он, проливая слезы на моем плече. — Бедняга Джордж! Только подумать, что его больше с нами нет! И он не увидит наш фейерверк. Ну-ка дай еще немного соли, Джерри!

Мы, сидя на траве и уминая мясо, слышали, что генерал Динго, суда по всему, вносил свой вклад в поднятую нами шумиху в честь праздника. По всему городу слышалась револьверная и ружейная стрельба, и вдруг мы услыхали громкий пушечный выстрел: бум! — что мы и предсказывали. Вскочив, мы побежали по краю площади, лавируя между апельсиновыми деревьями и домами. Да, на самом деле, мы тут, в Сальвадоре, наделали шороху. Но испытывали гордость по такому случаю и были ужасно благодарны генералу Динго.

Стеррет хотел было на ходу отправить сочное мясо на ребрышке в рот, как шальная пуля выбила его буквально у него изо рта.

— Кто-то ведет стрельбу боевыми патронами, — заметил он, взяв рукой с тарелки другой кусок. — По-моему, слишком стараются эти не наши патриоты, что скажете?

— Не обращайте внимания, — успокоил я его. — Считайте, несчастный случай. Они, насколько вам известно, происходят в день Четвертого июля. Когда кто-то зачитал Декларацию Независимости в Нью-Йорке, то афишки о возможных несчастных случаях были вывешены на всех больницах и полицейских участках.

Вдруг Джерри, завопив от боли, схватился рукой за ногу, за то место, куда была послана пуля каким-то сверхусердным стрелком. До нас донеслись чьи-то вопли, и вот из-за угла на площадь галопом выскочил генерал Мари Эсперанса Динго, обнимая обеими руками свою клячу за шею, а за ним бежало все его воинство, освобождаясь от своих длинных ружей, как от ненужного балласта. А всех их преследовала рота возбужденных низкорослых воинов в голубых брюках и фуражках

— На помощь, amigos, — орал генерал, пытаясь остановить свою лошадь. — На помощь, во имя Свободы!

— Это «Corupania azul»[[1]](#footnote-1) — личная охрана президента страны, — сказал Джонс. — Какой позор! Они набросились на нашего несчастного старого генерала Мари только за то, что он решился отпраздновать этот день вместе с нами. Вперед, ребята, ведь это наш день, день Четвертого июля. Неужели мы позволим этому крохотному взводу нас рассеять?

— Я голосую — «Нет!», — воскликнул Мартин Диллард, хватая свой винчестер. — Любой американский гражданин обладает привилегией напиваться, заниматься строевой подготовкой, наряжаться и наводить на всех ужас в день Четвертого июля, независимо от того, в какой стране он в это время находится.

— Друзья, сограждане! — сказал старина Биллфингер. — Даже в самые мрачные и опасные часы рождения Свободы, когда наши праотцы провозглашали ее бессмертные принципы, они никогда бы не позволили горстке деревенских мужланов в голубых портках испортить такую славную годовщину. Так защитим же нашу Конституцию, сохраним ее!

Решение было принято единогласно, все мы взялись за оружие и пошли в атаку на это голубое воинство. Мы стали стрелять поверх их голов, после чего бросились на них со страшными воплями, и они, испугавшись, разомкнули свои цепи и устремились прочь. Мы, конечно, были сильно расстроены тем, что нам не дали до конца насладиться барбекю, и преследовали их с четверть мили. Некоторых мы изловили и порядком поколотили. Генерал собрал свои войска и присоединился к нам в погоне за противником. Наконец все они рассыпались в густой банановой роще, а нам так и не удалось захватить больше ни одного из них. Нечего делать. Мы сели, чтобы отдохнуть.

Даже если бы меня подвергли допросу с пристрастием третьей степени, я не смог бы ничего рассказать о том, как прошел остаток дня. Думаю, мы активно прочесали весь город, призывая народ формировать новые армии для нас, которые мы все тут же уничтожим. Я помню, что видел где-то на улице толпу, а какой-то высокий человек, но не Биллфингер, произносил с балкона торжественную речь, посвященную 4 июля. Вот и все, что я помню.

Кто-то, вероятно, доставил меня на мою фабрику по производству льда, потому что когда я проснулся, то увидел, что нахожусь именно там. Как только я вспомнил собственное имя и свой адрес, то встал и немедленно произвел расследование. В кармане не было ни цента. Ну все, мне крышка.

Вдруг к двери подкатил красивый экипаж из него вышли генерал Динго и охотник на двух зверей в шелковой шляпе и желтовато-коричневых ботинках.

«Да, — сказал я себе, — все понятно: вот шеф полиции, его высочество лорд-камердинер Кутузки, и он хочет арестовать меня, Билла Касариса, за излишнее проявление патриотизма и за умышленное нападение. Ладно. Можно с таким же успехом посидеть и в тюрьме».

Но мне показалось, что генерал Макси улыбается, а этот его спутник, человек Правосудия, стал вдруг трясти мне руку и говорить на американском диалекте.

— Генерал Динго проинформировал меня, сеньор Касарис, о вашей отважной помощи, оказанной нашему делу. Я хочу вас поблагодарить лично от своего имени. Отчаянная смелость ваша и других сеньорес американос качнула чашу весов в борьбе за Свободу в нашу пользу. Наша партия одержала триумфальную победу. Эта ужасная битва войдет навсегда в историю.

— Битва? — ничего не понял я. — Какая битва?

Я стал мучительно вспоминать историю: о какой же битве идет речь?

— Сеньор Касарис отличается редкой скромностью, — сказал генерал Динго. — Но это он повел своих храбрых товарищей в самую гущу этого страшного сражения. Да. Без их помощи наша революция не осуществилась бы.

— Что вы, что вы, — возразил я, — не говорите мне, что вчера произошла революция. Насколько я помню, было лишь Четвертое июля...

Тут я осекся. Так, мне показалось, будет лучше.

— После тяжелой, изнурительной борьбы, — продолжал человек Правосудия, — президент Блоано был вынужден срочно на самолете покинуть страну. Сейчас президентом страны провозглашен Кабальо. Да, да! А в новой администрации я занимаю пост главы департамента торговых концессий. У себя в досье я обнаружил донесение о том, что вы, сеньор Касарис, не производили льда, как оговорено в контракте. — И тут он мне мило улыбнулся.

— Ну, что тут скажешь, — не стал возражать я. — Думаю, что донесение соответствует действительности. Да, они застали меня на месте преступления. Поймали меня. И что тут скажешь?

— Зря вы спешите, — сказал большой чиновник. Он, стащив перчатку с руки, подошел к глыбе стекла и положил на нее ладонь.

— Лед, — сказал он, торжественно кивая головой.

К нему подошел генерал Динго, тоже пощупал стекло.

— На самом деле лед, готов поклясться, — подтвердил он.

— Если сеньору Касарису будет угодно, — продолжал высокий чиновник, — зайти в казначейство шестого числа сего месяца, то ему будет возвращена его сумма в тысячу долларов, которую он предоставил в качестве залога. Adios, сеньор!

Генерал с высоким чиновником, постоянно кланяясь, вышли из комнаты, а я стал почему-то кланяться не меньше их.

Когда их экипаж отъезжал от фабрики по песку, я еще раз сделал такой низкий поклон, что коснулся, наверное, полями своей шляпы земли. Но этот низкий поклон предназначался не им. Ибо поверх их голов я увидел потрепанный звездно-полосатый флаг, который трепыхался на свежем ветру над крышей консульства, и вот ему и предназначалось мое уважительное приветствие.

1. Голубая рота *(исп.)* [↑](#footnote-ref-1)